

Борис Акунин

Вдовый плат

Часть первая

Идет гроза — разувай глаза

В Крестах

В Крестах-сельце было, месяца ноября в десятый день.

Утром по Московской дороге примчали верховые, человек десять, все на больших, не способных для мирного дела конях, собою нарядные, в багряных с прозолотью кафтанах, только сильно грязные от осенней расхлябицы. Старший, в шапке с волчьим хвостом, крикнул старосту. Тот уж и сам бежал от дома, стряхивая с бороды крошки (время было завтрашное).

— Гостебная изба есть? — спросил сверху волчий хвост, не дослушав величания.

— Как не быть, коли положено. — Староста впопыхах не захватил чем покрыть голову и мямл порожнюю макушку ладонью, пытаюсь угадать, что за люди и какой от них ждать беды. — А как же. В порядке содержим. Две дороги через нас идут, одна с Пскова на Вологду, другая с Верху на Низ, потому и зовемся — Кресты...

— Кто снизу, а кто сверху, это вы, куры новгородские, скоро спознаете! — непонятно чему ухмыльнулся верховой. — Давай, давай! Показывай!

Гостебная изба, в которой останавливались торговые люди, гонцы или если ехал кто важный, была большая, но ветхая. Высокое крыльцо скособочилось под гнилым шатерцом, ступеньки промялись.

Староста семенил за быстро шагающим по горницам хвостатым (шапку не снял, ирод, на икону не перекрестился):

— Сейчас велю подмести, прибрать, сенца свежего на пол, печь растопим, отдохнете с дорожки...

Брезгливо наморщив нос на прыснувших со стола мышей, волчий человек выскочил обратно во двор, где ждали остальные.

— Встать кругом, никого не подпускать! — Старосте приказал: — Обеги село, скажи, чтоб из домов носа не высывали. Сам вернись сюда к крыльцу. Жди.

Прыгнул с земли, по-татарски, в седло — и помчал назад, в низовую, то есть московскую сторону, только брызги грязи из-под копыт.

Спросить кто таков, почему распоряжается, староста и не подумал. Кресты были село пуганое. А и что спрашивать? Чей Низ, известно — великого

князя, и ехать с той стороны кроме какого-нибудь большого московского человека, дьяка, а то и боярина, было некому.

Четыре года назад, когда между Низом, Москвой, и Верхом, господином Великим Новгородом, случилась большая война, так же вот налетели с Московской дороги великокняжеские татары, наделали делов: дома пожгли-пограбили, кто не успел спрятаться — мужиков поубивали, баб попортили, теперь вон татарчата по селу бегают.

Обходя дома, староста кричал одно и то же: «Москва едет! Хоронись!»

И с задней стороны бежали к лесу молодые бабы с девками, а хозяева набыстро прятали в тайники ценное. Село стояло на месте беспокойном, но бойком и жило сытно, грех жаловаться.

Через четверть часа в Крестах сделалось тихо. Оставшиеся боялись по домам, глядели через щелку в сторону Московской дороги.

Невеликое время спустя оттуда выползла серая змея: высунула голову на верхушку холма, спустилась на поле, вытянулась.

Староста волновался у крыльца, глядел из-под руки.

Никак войско? Неужто снова война?

Но, разглядев за кучкой всадников возки и

телеги, десятка три или четыре, выдохнул. Обоз или караван.

На всякий случай встал на колени и прихваченную во время обхода шапку сдернул. Однако никто важный, кому земно кланяться, из подъехавших возков не вышел. Полезли слуги в одинаковых зеленых кафтанах, будто горох из порвавшегося мешка. Что-то разгружали, тащили, развертывали.

Только раз староста понадобился — спросили, где колодец и чиста ли в нем вода. Зачерпнули, попробовали — показалась нехороша. Потасили бочонок со своей водой.

Ух ты! На ступеньки крыльца лег длинный красный ковер, растянулся прямо по грязи, до самой дороги. Юркие зеленые люди, перебрехиваясь суетливым, акающим московским говором, волокли в дом еще ковры, тяжелые сундуки, резные скамьи, кресло с высокой спинкой.

Другие, в багряных кафтанах, с двухголовой золотой птицей на спине, у каждого на боку сабля, поехали вдоль улицы, что-то выглядывая или проверяя.

Старосте снова стало тревожно. Что ж это будет-то, Господи? Кого с Москвы несет?

Однако приехали с другой стороны, сверху, от Новгорода.

Переваливаясь из рытвины в рытвину, через

Кресты прыгал кожаный короб на широких колесах, весь залепленный грязью. По бокам рысила шестерка конных холопов.

Староста подивился: осенью, по разбитому пути в колымагах никто не ездил, только сухим летом или зимой, на полозьях, а осенью и весной — верхами.

Но разъяснилось.

Один холоп соскочил, снял с задка деревянный стул, поставил на землю; двое других, дюжих, открыли дверцу, приняли на руки тучного старика в шелковой шубе, усадили. Старик оказался калека, а стул непростой, на малых колесцах: толкнули сзади — покатился.

Человека этого в Крестах видали и прежде, ежизнал. Большущий боярин, наместник от великого князя при Господине Великом Новгороде — Борисов Семен Никитич, кто ж его не знает. Ноги у него недужные, не ходячие, зато руки загребушие. Это он со всех новгородских пятин для московского государя положенную дань собирает, зорко доглядывает.

Земно кланяясь московскому боярину, староста незаметно перекрестил живот. Ну, если всё готовлено для Борисова — оно ничего, нестрашно. Борисов — привычный, почти что свой, лютого зла не сделает.

Однако наместник, на старосту даже не

взглянувший, тоже был беспокоен. Приподнимался на своем калечном стуле, тянул шею в сторону Московской дороги. Подрагивали жидкие усы, тряслась растрепанная желто-серая борода, росшая странно — пучками в обвод одутлого лица.

— Здесь ставьте! — крикнул Борисов слугам. — Поверните только. Как цыкну — сымайте меня под руки, и на коленки! Вон туда, там почище. И мягко ставьте, черти, не с размаху.

Тут все загудели:

— Едут, едут!

Староста обернулся вслед за остальными —
Осподи-Сусе!

Московскую дорогу будто накрыла туча. По обе стороны, широко, ехали всадники, а по шляху все разматывалась, разматывалась лента из повозок, да конных, да пеших, и не было ей конца.

Только теперь догадался староста, кто это. Обмер: неужто сподоблюсь, своими глазами увижу? Самого великого князя Ивана Васильевича?

Нет, не сподобился. Глянул по сторонам главный над зелеными слугами человек — длиннобородый, грозный — и велел:

— Убрать этого! Больше ненадобен!

Схватили старосту за шиворот, отволокли от двора, поддали пинка — катись, чтоб духу не было.

Сначала понаехали багряные, очень много — до полутысячи. Слезли с седел, встали вдоль всей улицы сплошным частоколом, по обе стороны.

Потом приблизился одинокий всадник, казавшийся великаном — он был непомерно долговяз, смиренный старый конь под ним огромен.

Вся длинная колонна в Кресты не вошла, да она в селе и не разместилась бы — сотни повозок, тысячи людей и лошадей. Встали лагерем прямо в поле, споро и привычно.

Достигнув ковровой дорожки, чудо-всадник не торопился спуститься на землю. Он вообще был нескор. Сначала осмотрел всё вокруг, взглядом вроде бы скользящим, но внимательным. Человек был не сказать, чтоб молодой, но и совсем не старый — будто без возраста; не красавец, но и не урод; борода не длинная и не короткая, острая; нос слегка хрящеватый, но не горбатый; лицо, лишенное всякого выражения, привыкшее скрывать чувства. Кроме высокого роста единственной приметной чертой великого князя была сильная сутулость, придававшая Ивану Васильевичу неуловимое сходство с черепахой, готовой чуть что спрятать голову в панцырь.

Главный зеленый слуга, сняв шапку, гибко кланялся плешью до земли, а разгибаясь, повторял:

— Пожалуй, государь, отдохнуть-покушать...
Пожалуй, государь, отдохнуть-покушать...

Ничего вокруг не упустив, коротко задержав взгляд на коленопреклонном наместнике, но даже не кивнув ему, сутулый наконец перекинул через седло журавлиную ногу, оперся о макушку конюха, ступил на ковер.

Уже на крыльце, не оборачиваясь, сделал назад вялый жест рукой. Кому следует — поймет.

И смотревший в спину государю наместник понял. Цокнул — холопы под мышки подхватили его, тоже понесли в дом, но только до ступенек. Там Борисова приняли двое багряных богатырей и легко, словно мешок с соломой, поволокли дальше.

В гостебной избе будто побывал чародей — махнул волшебной палочкой и превратил убогую конуру во дворец. Закопченные стены и щелястые двери прикрылись висячими узорчатыми тканями, на полу заиграли многоцветьем персидские ковры, скамьи взгорбились подушками, стол устлался бархатной скатертью, а перед ним высилось резное сандаловое кресло.

Князю подали умыться — лили подогретой водой из серебряного кувшина в серебряный таз. Вот он вытер лицо, руки, бритую по-татарски голову, не глядя кинул полотенце и лишь тогда посмотрел на наместника, посаженного к столу, на

скамью. Но опять ничего не сказал.

Стольничьи отроки — все гололицые, зеленокафтаные, почти неотличимые друг от друга — бесшумно подавали кушанья. Каждый ведал своим делом: один, востроносый и гибкий, с несказанной ловкостью разметал тарелки, будто сами вылетавшие из его руки. Другой раскутал горячие пироги-калачи и красиво разложил печеное мясо, курятину, красную рыбу. Третий зажурчал сбитнем: из хрустального поставца ровнехонько в край кубка. Казалось, это скатерть-самобранка готовится потчевать дорогого гостя, а помогают ей сказочные три-молодца-одинаковых-с-лица.

Они быстро исполнили свою работу и так же быстро куда-то исчезли, будто растаяли. Но государь не ел — ждал, пока всё испробует кравчий. Тот — сосредоточенный, строгий — откусил понемножку от каждого куска, пригубил сбитня. Проверенное клал Ивану под правую руку. Князь смотрел на еду голодно, даже сглотнул слюну, но ни к чему не притронулся. Нужно было полчаса ждать — не начнутся ли у пробователя колики, не приключится ли рвота. Вот кравчий, утирая губы, вышел вон, молиться за государево и свое здравие.

Великий князь терять время попусту не привык. Полчаса перед трапезой у него всегда отводились для какого-нибудь важного разговора.

Князь рассматривал наместника Борисова, тот слегка ежился, но глаз не отводил — Иван Васильевич в слугах украдливости не любил, и глядеть на государя полагалось истово, честно.

— Ну, Семен, сказывай. Сначала про главное, — наконец разомкнул уста владыка московской земли. Голос у него был очень тихий. Такой бывает у людей, которые твердо знают, что каждое сказанное ими слово будет жадно уловлено.

Наместник обошелся без приветствий-величаний, зная, что великий князь в беседе с глазу на глаз суеречия не терпит.

— За четыре года, что ты не был в Новгороде, государь, у нас там... у *них* там, — на ходу поправился Борисов, — многое поменялось. Про то, как ты их кровью поучил, новгородские помнят, но наука им впрок не пошла. Раны свои они зализали, сызнова забогатели, зажирели, замноголюдели. Новгород — он ведь что ящерица, взамен старого хвоста быстро нарастает новый. За своих убитых при Шелони, за казненных бояр, за пожженные деревни, за отрезанные носы новгородцы Москву ненавидят люто.

— Не повторяй известное, про что раньше доносил, — недовольно перебил Иван. — Про литовских любителей говори. Что нового?

Боярин заговорил быстрее:

— Плохо, государь. Косит Новгород на

литовскую сторону. Московские доброжелатели, кто за тебя стоит и со мной дружбу водит, повседневно опасаются за жизнь и имущество. На Славенском конце две улицы были наши, всегда на вече за нас кричали. Теперь умолкли. Бояр, кто за Москву, вече приговорило к «потоку». Это когда врываются на двор и всё грабят дочиста. Сам степенной посадник Василий Ананьин распорядился погромом.

— Что, поубивали верных мне людей? — нахмурился Иван.

— Нет, государь, в Новгороде не убивают. В Новгороде грабят. Они как считают? У кого денег нет, тот неопасен. Если ты разорен — ты никто. Живи себе, кому ты страшен. И всяк потому за свое добро трясется. Нет больше на Славне твоих сторонников, государь. Потеряли мы Слану.

Князь подвигал вверх-вниз кожей на лбу.

— Славна — это который из концов? Запомню я за четыре года, а мне это сейчас нужно понимать.

— Дозволь, государь? — Наместник взял половинку разрезанного кравчим яблока. — Вот он, Новгород. Сверху вниз поделен надвое рекой Волхов. Посередке проходит Великий мост, соединяющий левую сторону, Софийскую, с правой, Торговой. На Софийской стороне, вот где семечка, ихний кремль, называется Град. Там сидит

владыка-архиепископ, собирается Господа, совет вышних людей. А еще Софийская сторона поделена на три конца. — Борисов провел ногтем по мякоти. — Наверху — Неревский конец, под ним — Загородский, внизу — Людин. На правой, Торговой стороне, происходит великое вече и стоит Вечевая изба. Тут два конца: сверху — Плотницкий, внизу — Славенский. Вокруг всего города Острог — вал со стеной и башнями, но Новгород тянется и дальше, разросся посадами во все стороны. В пяти внутренних концах более шести тысяч дворов, а сколько в посадах — Бог весть, не считал никто.

Иван смотрел и слушал внимательно. Спросил:

— Сколько всего народу в городе и посадах?

— Тыщ шестьдесят, а то и восемьдесят. Другого столь великого города ближе Рима или Царьграда нет.

Великий князь вздохнул. В Москве людей было вдвое меньше.

— Ладно. Про степенного посадника сказывай. Враг мне Василий Ананьин? Опасен?

— Враг-то враг, да не в посаднике дело. Что посадник? Одно прозвание, настоящей власти у него нет. Про Новгород что понимать надо? Там не так, как на Москве. У нас твоя милость —

государь, ты и правишь. Бояре тебе служат, их жены по теремам сидят, не видно их и не слышно. А у новгородских женок обычай иной, вольный. Вот есть в Новгороде владыка-архиепископ, есть степенной посадник и степенной тысяцкий, есть кормленный князь — войско водить, есть Совет Господ, есть Великое Вече, есть купеческие товарищества, да у каждого конца свой посадник, да у каждой улицы выборной староста, а правят всей этой машиною, *истинно* правят, не мужи бородатые-череватые, а три бабы. Зовутся они — «великие женки». Там сейчас говорят: Земля на трех великих китах стоит, а Новгород — на трех великих женках. Одна — Марфа Борецкая, другая — Настасья Григorieва, третья — Ефимия Горшенина. Это они меж собой решают, кому выбираться в степенные, что решать вечу, куда Новгороду поворачивать — к Москве или к Литве. У каждой женки свое прозвище. Марфу зовут Железной, потому что она как топором рубит. Настасью — Каменной, она крепче стены стоит. Ефимию — Шелковой. Эта обхождением ласкова, стелет мягко, но удавку на шею накинёт — дух вон. Кабы великие женки стояли заодно, Новгорода было бы никакой силой не взять. Очень уж у них денег много. Можно любое войско нанять, любых союзников купить. Но на твоей милости выгоду Марфа Железная с Настасьей Каменной издавна

враждуют, а Ефимия Шелковая тоже свои кружева плетет. Как не было меж ними четыре года назад, перед той войной, единства, так и теперь нет. Будто три змеищи — то переплетутся, то расшипятся, перекусаются. И город тоже на части разламывается.

Князь облизнул узкие губы, следя за сыплющимся в стеклянных часах песком — мера была получасовая. Когда весь песок высыплется, пора приступать к трапезе.

— Не повторяй мне, Семен, что в грамотках многожды писывал. Скажи лучше, которую из великих женок на мою сторону оборотить можно? Знаю, что не Борецкую: я у ней после Шелонского боя сына казнил. Из других двух кто нам пригодится? Думал ты про это?

— Думал, государь. Как не думать? Гляди сам. У Ефимьи Горшениной вся торговля — западная: с немцами, шведами, датчанами и даже дальше. Мы ей вовсе не нужны, Ефимия и духу московского не выносит. Иное дело Настасья Григориева. Баба она хитрая, лукавая, и веры ей, конечно, нету, но...

Наместник обернулся на шорох — это качнулась на сквозняке одна из узорчатых драпировок, наскоро прицепленных к потолку, чтобы скрыть от светлых государевых очей

грязную стену.

Иван Васильевич оборвал боярина:

— Не мели пустое. Кому на свете вера есть?

Дело говори.

— ...У Григориевой торговля по большей части — низовая, русская. Настасья у нас хлеб закупает, у себя продает. А у новгородских как? Куда мощна повернута, туда и глаза смотрят.

— Ясно. А которая из трех женок сильнее? — погладив рыжеватую бороду, спросил князь.

— Марфа больше на Софийской стороне сильна, да не во всех концах. В Неревском и Загородском почти все улицы сейчас за нее. А вот в Людином конце...

Видя, что Иван косится на расчерченное ногтем яблоко, Борисов еще раз показал:

— Неревский конец — вот здесь, слева наверху. Там у Марфы Борецкой палаты, и многие ее подручники тоже там живут. Настасья обитает в Славенском конце — тут вот, внизу справа. Она на Торговой стороне сильнее. Ефимия же проживает в самой середке, в Граде, никаких улиц за собой не числит, много челяди не держит. Она чем сильна? Со всеми передними людьми в дружбе, и врагов у нее нет. К кому из двух других Шелковая примкнет, та и берет верх. Вот как оно у них, у новгородцев. Переменчиво.

Опять молчал государь, барабанил

костлявыми пальцами по столу, глядел на сыплющиеся песчинки, думал.

— ...В Новгороде всегда первым из первых владыка был. Как пастырь решит, так они и делали. Что преосвященный Феофил?

Наместник пожал плечами:

— Всё то ж. Ни богу свечка, ни черту хвост. Я надавлю — он за Москву. Марфа надавит — он за нее. Но ты же сам такого владыку в Новгороде хотел, бессильного...

Опять замолчали. Борисов ерзал на скамье, прел в куньей шубе, по лбу стекал пот, а вытереть рукавом было непочтительно.

— Что прикажешь своему рабу, государь? — наконец осторожно спросил он. — В Новгород ли вернуться, при тебе ли состоять? Коли вернуться, что к твоему прибытию сделать? А пуще всего скажи: как думаешь с новгородцами поступить, милостиво или строго?

Иван поднял на него тяжелый взгляд.

— Давно ты, Семен, на Москве не был. Нового дворцового обычая не знаешь. Ныне живем по-цареградски. Государю вопросов не задают. Спросит — отвечают. Запомни.

— Прости старика, батюшка, откуда ж мне было знать? — испуганно пролепетал боярин и напугался еще больше — получилось, что опять спросил.

У князя по неподвижному лицу скользнула легкая судорога — так он улыбался, и то нечасто.

— Ладно, ступай. Трапезничать буду. После скажу, как тебе быть.

Хлопнул в ладоши. Вошли двое, подняли наместника, понесли кулем прочь, а он, вися на руках, пытался обернуться и поклониться — не получалось.

Оставшись в одиночестве, великий князь наконец поел. Медленно, без разбора — что рука возьмет. Откусывал понемногу крепкими зубами и долго, обстоятельно жевал, немигающе глядя на огонек свечи. Ивану было все равно, чем утолять голод. Как только почувствовал, что сыт — есть перестал.

— Через час разбуди! — сказал он в сторону прихожей, зная, что услышат.

— Мехом накрыть, государь? — ответили из-за двери.

— Ничего не надо.

Князь пошел к лавке, скинул подушки на пол, лег на голые доски, сложил руки на груди — прямой, будто покойник. Всегда так спал, и засыпал быстро.

Когда дыхание спящего стало ровным и глубоким, из-за свисающей материи — той, что давеча шелохнулась, — выскользнула зеленая тень, шмыгнула вглубь дома.

* * *

Государь — единственный, кто отдыхал во всем огромном таборе, занявшем широкое поле перед Крестами. Воины кормили коней и наскоро обедали сами — по-походному, краюхой хлеба, луковицей или репкой, лоскутами вяленого мяса. В селе, близ гостебной избы, распоряжался голова великокняжеского поезда, начальник зеленокафтаных слуг. Отдавая приказания свистящим, далеко слышным шепотом, он осмотрел всю несметную поклажу, велел что-то привязать покрепче, что-то перепаковать, указал, какую снедь приготовить к государеву столу на вечер, для большой стоянки.

У дворецкого была привычка бормотать себе под нос, чтобы ничего не забыть, не упустить никакой мелочи. Человек он был тревожного устройства, поминутно вскидывался, дергал себя за длинную бороду:

— Шатер-то, шатер! А ну как изба будет негодна? — и бежал проверять, исправно ли везут походный государев шатер, которым от самой Москвы еще ни разу не пользовались, однако тут земли были уже чужие, верховские, и поди знай.

Спыхватывался:

— А дождь, дождь если? — Махал старшему

постельничьему, ведавшему государевой одеждой, — близко ли уложен промасленный охабень с клобуком, укрывавший всадника от ливня с головы до стремян.

Подлетел старший стольник:

— Тихон Иванович, мой один потравился.

— С государева стола? — всплеснул руками дворецкий, и его глаза стали круглыми от ужаса.

Если кто из слуг отравился объедками с великокняжьего стола (бывало, потихоньку суют в рот — за всеми не уследишь), то это дело страшное, изменное!

— Нет, — успокоил стольник. — Говорит, в утренней деревне грибов поел соленых.

— А-а. Где он у тебя?

На обочине выворачивало наизнанку скрюченного человека.

— Ти...хон... Ива...ныч... моченьки нет, — еле выговорил страдалец, поворачиваясь к дворецкому востроносим лицом в цвет зеленого кафтана. Это был один из слуг, накрывавших государев стол — тот, что ловко метал тарелки.

— Захарка? — Дворецкий знал по имени каждого челядинца, а их под его началом числилось до трех сотен. — Ты что это, пес?

— Никак помираю... — прохрипел слуга и снова согнулся, затрясся в судороге.

— Ну и дурак. Охота жрать что ни попадя.

Тихон Иванович повернулся к стольнику:

— Кем заменишь?

— Найду, Тихон Иванович.

— Этого тут оставить. Государь близ себя хворых не любит. И куда его такого? Коли оправишься, Захарка, догоняй. А нет — черт с тобой.

Махнул рукой, пошел дальше, бурча:

— Коня ему оставить. Может, догонит... Старосте здешнему сказать, что конь государев. Этот сдохнет — чтоб коня держал исправно, не сеном кормил — овсом. Обрато поедем — заберем. Конюшему сказать, не забыть...

Час спустя всё пришло в движение. Расселись по коням статные молодцы Ближнего полка — на спинах багряных кафтанов вышит золотом новый государев знак: двуглавая птица византийских Палеологов, приданое великой княгини Софьи Фоминишны. Окружили Ивана Васильевича со всех сторон, подняли стяг, тронулись.

За ними нестройной гурьбой служивые татары, одетые кто во что, зато все на превосходных конях. Потом бояре со слугами. Потом бесконечный государев обоз. Потом две тысячи пеших ратников в толстых негнущихся тегилеях и железных колпаках. Нет, это все-таки было войско.

А когда хвост трехверстной колонны скрылся за опушкой дальнего леса, за околицу вынесся всадник и погнал через голое поле — тоже в сторону Новгорода, но не напрямую, а в огиб.

Он нахлестывал коня плеткой, вертел острым носом туда-сюда: татары, бывало, рыскали далеко от поезда, искали чем поживиться. Не дай бог заметят, от них не уйдешь.

Старый мальчонок

От Крестов до Новгорода было восемьдесят поприщ, по-московски — верст. Сильный мерин из великокняжеских конюшен мог бы пробежать это расстояние за остаток дня, даже по рыхлой ноябрьской земле, но всадник торопился лишь первые два часа, пока опасался столкнуться с татарскими разъездами. Потом он перешел на развалистый, не топотливый аллюр, почти не утомлявший вороного, и к ночи без остановки отмахал три четверти пути, до самой Мсты-реки. Отсюда до посадов оставался час-полтора рысью, да и вечер выдался лунный, не собьешься, но мнимо отравившийся затеял устраиваться на ночлег. Отыскал в поле неубранную скирду, натаскал сена, но прежде чем улечься поводити взад-вперед лошадь, накормил из мешка, дал попить. Улегся под теплый пахучий бок, натянул

попону, стал смотреть на звезды, сладко позевал, уснул. Видно, ночевать под открытым небом, на холоду, востроносому Захарке было не в диковину.

Светало поздно, но стольничий отрок, кажется, никуда и не спешил. Проснулся, когда запунцовел край земли. Развел костерок, вскипятил воды из лужи, соорудил нехитрое варево: горсть сарацинского зерна, несколько волокон сушеного мяса, щепотка соли. С удовольствием съел похлебку, весело и звонко хлопнул вороного по круглому крупу, оседлал, погнал рысью.

Пунцовая полоса обманула, солнца из-за горизонта так и не вытянула. Свет, толком не разгоревшись, померк, заморосило серым дождем, но всадник накинул на плечи и шапку рогожный мешок да ехал себе, насвистывал.

Все чаще попадались деревеньки, а с пологого холма над невеликой речкой Мшашкой вдали завиднелась темная полоса. Захар приподнялся в стременах, вглядываясь: неужто уже Новгород? Тут, словно надумав разрешить его сомненья, меж облаков выглянуло солнце, пронзило дрожащий воздух золотыми копьями, ответными искрами вспыхнули купола церквей и колоколен, засветлела многобашенная стена, над нею проступила темная гребенка крыш, сверкнули нити опоясывающих город речек и стариц, в стороне заблестело широченное серебряное блюдо Ильмень-озера.

Здравствуй, Господин Великий Новгород, ох давно не виделись!

Засмеявшись и одновременно всхлипнув, всадник взвизгнул по-степному, хлестнул мерина, понесся вскачь.

Скоро началось Заполье — скопления дворов, которыми растущий город расплзался по окрестным полям, вылезая за тесную границу Острога. Захар вертел головой, дивился. В его времена вон там была роща, подле нее монастырек, а боле ничего. Ныне рощица исчезла, к монастырским стенам вплотную подступили избы — получился целый посад.

Торный путь вел вдоль речки-Федоровки или Федоровского ручья — называли по-разному — прямо к башне. Ее ворота были похожи на разинутый рот, который пил-глотал дорогу вместе с тянущимися в город телегами, людьми, лошадьми. Назывались они Низовскими, потому что вели к Низу, и под бойницей, из которой торчал бронзовый хобот пушки, висела икона, список с образа Липицкой Богоматери — поминание о великой давней победе новгородского ополчения у Липицы над низовской ратью. Четыре года назад, одолев в войне, Москва велела икону снять. Сняли. А потом снова повесили. Вот вам, московские, выкусите.

Захарка на образ перекрестился, но и головой

покачал. Лучше бы убрать, не дразнить Ивана Васильевича. Он ведь здесь скоро будет...

Осторожная стена, опоясывавшая город, была странная: где-то деревянная, острыми дубовыми бревнами вверх, где-то каменная, и башни все разные — то высокие, пузатые, то худосочные, хлипковатые. Каждая улица, упиравшаяся в Острог, содержала свой участок укреплений на собственные средства, а улицы были одни побогаче, другие победнее, и расщедривались неодинаково.

Миновав ворота, Захарка спешил, начал хорошиться, принаряжаться. Пыльный кафтан снял, надел богатую зеленую ферязь, к шапке прицепил беличью оторочку, пыльные сапоги тщательно вытер тряпицей. Ею же, перевернув на другую сторону и смачивая слюной, умыл бритое лицо. Оно казалось юным только на первый взгляд — у глаз морщинки, в углах рта по две маленькие складки: одна вверх, другая вниз, что говорило об умении и веселиться, и задумываться о невеселом.

Осмотрев себя в серебряное зеркальце, Захарка еще расчесал волосы, капнув на них маслом из малой скляночки. Остался доволен — будто и не с дороги, не стыдно показаться. Но вдруг засомневался, нахмурил лоб. Гонец со срочной вестью, проскакавший восемьдесят поприщ, чист и свеж не будет...

Нагнулся, зачерпнул пыли, сизнова перемазал

сапоги, припорошил ферязь, мазнул и по лицу. Вот так будет ладно.

Шел, однако, пока что неторопливо, с любопытством озираясь. Господи, и забудешь на Москве-то, что такое великий город!

Дома стоят тесно, бок в бок. Улица узкая — двум телегам еле разъехаться, а эта, Федоровская, еще считается широкой! Потому что земля дорога, каждый аршин стоит немалых денег. Кто собственным жильем владеет, пускай крошечным — называется «житым человеком» или просто «житым», такому открыта дорога на любую выборную должность. Если же попадается не дом, а целая усадьба с забором и двором, это богатый купец живет или целый боярин.

Тесно в Новгороде, зато чисто: ни колдобин, ни луж, ни грязи. Земли под ногами не видно. Улица мощена стесанными бревнами, по обе стороны дощатые мостцы, пешим ходить.

На Федоровской в этот утренний час былолюдно, своеземцы и смерды ехали на рынок торговать всякой деревенской всячиной, горожане, наоборот, шли за покупками или просто поглазеть. Кого-кого, а зевак в Новгороде всегда имелось в избытке.

Толпа здесь была совсем не такая, как московская, — Захару с отвычки это бросалось в глаза. У московских мышиная побежка, головы

опущены, взгляд исподлобья, быстрый, в хребте вечная готовность поклониться. Эти же пялились кто на что хочет без опаски, морды сытые, дерзкие, походка вразвалку. И никого в лыковых лаптях, все в сапогах — вот это забылось. А потому что чисто, и кожи дешевы.

Подле бани Плотницкого конца на крылечке сидели две распаренные женки. Ясно: с утра пораньше попарились и будут париться еще, а пока вышли охолонуть, поглазеть на прохожих-проезжих. Пили морошковый квас из большущих ковшей, толстые красные щеки выпирали из-под пестрых платков.

— Глянь какой, — показала одна на Захарку, не смущаясь, что он услышит. — Старый мальчонок. Бороды нету. — И спросила, громко: — Ты чо, лущенай?

Вторая загоготала. «Лущеными» по-новгородски называли скопцов.

Захарка тоже засмеялся. Слышать гундосый, с медной носовой протяжкой новгородский говор было приятно. Это в Москве бабы — кроме гулящих — сидят взаперти, и оттого кажется, что город населен сплошь мужчинами, а в Новгороде не так: больше видны женки и девки, потому что одеваются разноцветно, весело.

— Ага, лущеный. Вы, бабоньки, меня не бойтесь, возьмите с собой в мыленку. Я вам

озорства не сделаю. В уголку посижу тихо, котеночком.

Тетки закисло со смеху.

— Врешь. Глаз у тебя не котеночий — котячий. Иди, куда шел.

— Пойду. Скажите только, как найти двор Настасьи Григориевой?

— А иди по Федоровскому до моста, — показала та, что бойчей, на тянувшийся вдоль улицы ручей. — Там ступай налево, пока не дойдешь до Славной улицы, и поворачивай к Острогу. Прямо в Настасьины ворота упруешься, их издалека видно... Эй, а ты что Каменной-то? Весть какую привез? — с любопытством крикнула Захарке вдогон, но ответа не получила.

Он повел коня, как было велено, и через немалое время, пройдя мимо Немецкого двора, оказался на Славной улице, давшей название Славенскому концу.

По новгородским меркам улица была широченная, сажени в четыре. И зажиточная, сплошные заборы. Вдоль мостцов, ишь ты, высажены ветлы. Захар поразился — раньше такого не было. Ведь ни для чего, просто для лепости и летней тени! Ох, новгородцы...

Однако пора было перестать глазеть по сторонам. Впереди обозначился конец улицы: она

упиралась в открытые настежь ворота.

— Ну, не плошай, — шепнул сам себе Захарка и мелко перекрестился.

До ворот оставалось недалече, но он сел на коня, вздыбил его, покрутил на месте, хлестнул раз и другой, горяча, и запустил вперед галопом. Влетел во двор лихо, с дробным топотом по мостовой. Завертелся, заозирался.

— К Настасье Юрьевне ведите! Я сто верст скакал!

* * *

Двор по новгородским понятиям был огромный, от края до края сажений в пятьдесят. С трех сторон его огораживал бревенчатый частокол, а тылом усадьба примыкала к каменной туре городской стены. Башня была мощная, нарядная, недавней кладки, с сияющей медной кровлей.

Боярский терем показался приезжему человеку драгоценным ларцом — такой он был затейный, в два жилья, с перильчатыми гульбищами наверху, с резными наличниками, с узорчатыми водостоками, с цветными окнами, с гербом Григориевых на высоком, гордом ветряке: птица-дева в зубчатой короне. Великокняжеские палаты в Кремле — громоздкие, несуразные, ветхие — поставь их рядом, выглядели бы амбарищем.

Вдоль частокола с внутренней стороны тянулись строения попроще, но все добротные, ладные. Была тут конюшня, людская, товарные склады, кухни, сенник — много чего. И всюду сновала челядь, каждый занят своим делом: кто катит бочку, кто тащит связки мехов, кто складывает на воз мучные мешки.

— Настасья Юрьевна где? Дело к ней! Важное! — еще пронзительней закричал всадник. Он ждал, что к нему кинутся, станут расспрашивать, но от работы никто не оторвался.

Только подошел пожилой, широкобородый, приказчик что ли, и спокойно сказал:

— Теща тебе Юрьевна. Коли ты к госпоже Настасье — коня сведи на конюшню, а сам поди в терем, там встретят.

Захарка был сметлив, если что не так — мгновенно исправлялся. Поняв, что здесь шуметь и выставять себя не заведено, сразу притих.

Отдал узду конюху, на высоченное крыльцо поднялся тихо, с шапкой в руке.

В передней, откуда на три стороны вели двери, украшенные резными григориевскими девоптицами, был стол со скамьей, за столом сидел мордатый, важный муж — такого хоть в великокняжеские дьяки. Борода холеная, на две стороны, волосы перетянуты кожаным снурком, над

ухом торчит гусиное перо — грамотки писать, на носу серебряные колеса со стеклами. В Москве такие («очки» называются — малые очи) рубля три стоят, в цену боевого коня.

— Я к госпоже Настасье, — внушительно сказал Захарка, запомнив, что по отчеству называть боярыню не положено. — Из Москвы. От Олферия Васильевича.

Дьяк, или кто он там, не впечатлился. Щелкнул костяшкой абакуса — новой европейской придумки для торгового счета, — обмакнул перо в бронзовую чернильницу, что-то записал в свиток.

— Дело незряшное, дядя, поспеши! — повысил голос приезжий.

Строго посмотрев через очки, письменный человек пробурчал:

— Пес тебе дядя.

Но все же встал, ушел в среднюю дверь, бросив:

— Сядь, жди.

— Ишь, родни-то, — пробормотал Захарка, оставшись один и оглядываясь. — С утра сирота был, а тут и теща Юрьевна, и дядя — пес...

Был он оборотист, ушел, мало чем смутился, а тут заробел и сам с собой заговорил для бодрости. Ежился он не от богатого убранства горницы, хотя такого роскошества и в государевом дворце не видывал (стены — серебряно шитье! лари — красно

дерево! пол — мозаичное травоцветие, наступить жалко!), а от мысли, что сейчас решится вся судьба. Подобраться надо было, в три глаза смотреть, в четыре уха слушать.

Сел в самый угол, на обитый сафьяном сундук, поближе к иконам. Вспомнил, что года два в церкви не был, стал шепотом молиться.

Скоро оказалось, что через переднюю горницу много кто ходит. Средняя дверь, куда скрылся стеклянноокий дядька, оставалась неподвижна, зато две другие беспрестанно отворялись-затворялись.

Сновали слуги, служанки, побегушные мальчишки, комнатные девчонки, даже старухи — и те не ходили, а семенили. Это всегда у них так или какой спех?

На сидящего в уголке человека внимания никто не обращал, а многие и не замечали. Ферязь у Захара была зеленая, и примостился он, неслучайно, под зеленой же тканой картиной: райский лес на ней с плодами-деревями, и ангелы летают. Не наша, не русская работа. У государя тоже такие картины есть, великая княгиня Софья из фряжской земли в приданое привезла. Многие осуждают: соблазн зрению.

Один какой-то человек зашел и остался. Чудной, не поймешь кто. Одет богато: саян на нем — синь атлас, сапожки — тимовые, расшиты

жемчугом, а на груди, будто у младенца, пеленка кожаная, и на нее из разинутого рта свисает слюна. Сам притом — мужик бородатый.

Вот этот Захарку заметил, уставился. Глаза телячьи, с пушистыми светлыми ресницами, хлопают. На гладком лбу посередке багровая клякса — родимое пятно.

На всякий случай Захарка встал, поклонился, сделал лицом улыбку.

Чудной подошел, протянул руку — большую, но вялую. Потрогал голый Захаркин подбородок, уколол палец о вылезшую за сутки щетину, сморщился.

Захарка отшатнулся, руку оттолкнул.

— Ты чего?

Непонятный человек скривился и жалобно заплакал.

Э, да ты дурачок. Должно быть, здесь в великих домах, как в Москве, тоже держат для забавы дураков, шутов, уродов всяких.

— Иди, иди себе...

Малахольный увидел на подоконнике красно-синий отсвет — солнце сияло через цветные стекла — и про бритого чужака позабыл. Стал водить пальцем по окну, засопел.

Торопилась куда-то девка-горничная, с метелкой в руке, пыль стирать. Дурачка заметила, Захара — нет. Воровато оглянулась, рожа злющая.

— Поди-ка, — говорит, — Юрод, я те пряничка дам.

Мужичонок заулыбался, пошел к ней, а девка еще раз оглянулась, нет ли кого.

— На, боярин, покушай, как меня твоя матушка кармливает!

Да как стукнет с размаха костяшкой пальца по лбу, прямо по родимому пятну — до треска, Захарка даже поморщился.

Юрод — в рев. Слезы ручьем, голос жалобный:

— Олё, олё!

Горничная подобрала подол, хотела бежать прочь, но не успела. Распахнулась средняя дверь — та, что, видимо, вела на господскую половину, и выскочила молодая женка. Что не девица — ясно по головному платку, а так совсем юница. Лицом нехороша: широкоскулая, веснушчатая, большой рот поджат, из-под платка торчит рыжая прядь (в Новгороде рыжих считали порченными). Платье простого сукна, скучное, без украшений, но по повадке ясно — женка не из прислуги.

— Что? Что? — крикнула она не плачущему, а горничной. — Упал? Зашибся?

— Не знаю я, Оленушка Акинфиевна, сама на крик вбежала, — заврала та. — Ох бедненький, ох болезненький!

Молодая баба (по отчеству величают —

дочка, что ли, хозяйская?) движением руки отпустила служанку, обняла юродивого, прижала его голову к плечу, стала гладить.

— Ну, Юринька, ну... Ни на сколько одного оставить нельзя...

Тот сразу успокоился, а непонятная женка оказалась зорче горничной — заметила сидящего в углу человека.

— Ты кто?

Захарка поднялся.

— Я к госпоже Настасье... Весть привез, важную.

Прикидывал: этой, что ли, обо всем рассказать? Взгляд у ней острый, говорит начальственно — как те, кто ничьей власти над собой не признает. В Москве один только великий князь этак себя держит.

— Из Москвы я. Состоял при государевом дворе. Узнал такое, что...

— Ей скажешь, — перебила рыжая. — Она любит первая знать.

Обхватила юрода рукой, повела прочь, а он уже улыбался, лепетал свое: «Олё, Олё». Похоже, это он зовет бабу по имени, только до конца «Олёна» не выговаривает.

Ишь, как у вас тут, Григориевых, интересно, подумал Захарка, снова садясь.

Но миг или два спустя пришлось опять

вскакивать — вошел давешний дядя, с поклоном придержал дверь, пропуская медленно ступающую женицу — иначе и не назовешь: высокая, дородная, подбородок кверху, брови бобриные, нос корабельный, взгляд гордый. Одета во все черное, вдовье.

Это непременно должна была быть сама Настасья Юрьевна Григориева-Каменная, и Захарка перед столь великой особой склонился, как гнулся перед государем — лбом в пол, благо поясница у кремлевских слуг гибкая.

— Ты что ль от Олферия Выгодцева? Из самой Москвы примчал? — спросил негромкий, низкий, почти что и не бабий голос.

Тогда Захарка выпрямился, рассмотрел великую новгородскую женку лучше.

Пожалуй, вдовьего в ее наряде был один плат, спущенный до широких бровей, а прочее платье казалось черным только на первый взгляд. Распашистая мятель — очень темного вишневого тонкого бархата, наручни исчерна-синие, с не сразу заметной парчовой искрой. Да и платок хоть черен, но драгоценной аксамитной ткани. У московского государя есть такой кафтан — по большим дням надевается.

Еще бросился в глаза длинный посох, который боярыня сжимала левой рукой. (Левша? Бабы редко бывают.) Посох был черный, лаковый, с рукоятью в

виде трех голов Змея Горыныча: одна тянула разинутую пасть вверх, две другие — на стороны.

Внутренне подобравшись, Захарка ответил:

— Нет, госпожа Настасья. Я из Крестов, что на Холов-реке, пригнал. Великий князь там вчера был.

Он ждал удивленного возгласа или хоть движения бровей, но лицо Григориевой осталось недвижимым. В самом деле — каменная.

— Ты кто таков? — спокойно спросила боярыня. — У Олферия служишь?

— Я — Захарка. У Олферия служил раньше, давно. Я — стольничий отрок у великого князя Ивана Васильевича.

Опять она не удивилась.

— А, помню. Олферий отписывал, что пристроил своего человека в великокняжьи слуги. Давно уже, лет тому...

— Тринадцать, — подсказал Захарка. — Тринадцать лет я в Кремле прослужил, матушка боярыня.

Глядела на него пристально, будто приценивалась.

— Так-так. Стало быть, Олферий через тебя узнает, что в Кремле делается.

На это можно было и промолчать, скромно потупившись, но Захарка не стал:

— Прости, госпожа, но даже я знаю, что

у Олферия Васильевича при великокняжьем дворе есть и другие глаза-уши. А уж тебе это тем более ведомо.

Не слишком ли дерзко сказал, сжался Захарка. Но сейчас решалась судьба. Надо явить остроуту, заинтересовать собой великую боярыню. Иного случая не будет.

Кажется, получилось. Настасья не рассердилась, а посмотрела на остроносое, живое лицо вестника внимательно.

— Не пойму я поговору, ты московский или новгородский?

— Новгородский я, поповский сын, сызмальства сирота. — Захар убрал из речи московское аканье. — Рос в Клопском Свято-Троицком монастыре, учился грамотному делу — летописи белить. И присмотрел меня Олферий Васильевич, твой низовский приказчик. Забрал с собой в Москву, и с тех пор я всё там, пятнадцать лет. Сначала при торговле состоял, а когда на престол взошел государь Иван Васильевич и стал новых слуг набирать, устроил меня Олферий Выгодцев во дворец. Был я кухонным служкой, потом возрос до стольничьего отрока, кого к государевой особе подпускают.

— Пошто лицо бреешь? — спросила боярыня, все больше пугая Захара тем, что никак не подойдет к главному, говорит про пустяки.

— Стольничьим отрокам так положено.

— Да ты уж не отрок. Глаза немолодые.

— Тридцать годов мне, госпожа. Но в Москве не возрастом меряют. У нас там и старики в отроках бегают.

И тут, без перехода, тем же тихим, ровным голосом она наконец спросила:

— Что там, в Крестах, такого особенного стряслось? Почему сюда примчал? Не хватятся тебя? Как же ты теперь туда вернешься?

Захарка догадался, что движение великокняжьего поезда для Григориевой не новость — московские едут медленно, уже три недели в пути. И, конечно, новгородцы следят, где и на сколько времени государь останавливается.

— Олферий Васильевич наказал: коли услышишь, что великий князь станет про боярыню говорить — запомни слово в слово и, если важное, гони к ней в Новгород, перескажи... — Сглотнув, через силу, прибавил: — Но ежели прикажешь мне вернуться на государеву службу, то это я могу. Я тем озаботился. Хитро ушел, не сбежал...

— Не хочешь возвращаться, — понимающе усмехнулась Настасья. — При мне желаешь остаться. Что, наелся московских пирогов досыта? Ладно, говори, что слышал и видел. Сначала коротко, потом подробно.

Захар сосредоточенно почесал подбородок:

— Если совсем коротко — то так. Иван Васильевич повстречался с новгородским наместником Семеном Борисовым. Расспрашивал, чья-де в городе настоящая сила. Борисов ему рассказал про твою милость, про Марфу Борецкую и про Ефимию Горшенину. С тобою государь будет близиться, чтобы двух других ослабить и прибрать Новгород к рукам.

— Прямо так и сказал?

— Нет. Великий князь не говорлив. Он сказал, думать будет. Но я на него смотрел. Он уже всё для себя решил.

Настасья слегка качнула головой, не убежденная.

— А теперь повтори, что слышал и запомнил, ничего от себя не домысливая.

Захарка повторил слово в слово, говоря за наместника жирным голосом, за государя — сухим, приглушенным.

Боярыня слушала — диву давалась.

— Борисов, словно живой. Как говорит Иван, я не слыхала, но теперь услышу — узнаю. В скоморохи бы тебе. Большие деньги наработаешь. Много ль от себя присочинил к говореному?

— Ни словечка. У меня, госпожа Настасья, память будто клей — всё намертво цепляет. С детства, с монастыря так. Нас учили Писание, жития, летописи зубрить в точности, а наврешь —

таскали за вихры.

Немного подумав, Григориева сказала:

— Ну вот что, Захар... Про «Захарку» ты забудь, это у них в Москве людей по-собачьи кличут, в землю носом тычут. У нас в Новгороде полным именем зовут... Вижу, что умом ты остр, памятью цепок, книжен, боек нравом... — И вдруг с любопытством спросила: — А моим голосом говорить можешь?

Захар приосанился, расправил плечи, сгустил воображаемые брови, выставил левую руку, как бы с посохом — и медленно, важно, едва шевеля губами, с истинно новгородской тягучестью:

— Да и ты, матушка, умом не худа, памятью не дырява, нравом не смирна...

В тяжелом взоре боярыни что-то мелькнуло — гнев или веселость, не разберешь.

— Дед у меня был такой же затейник. Мне, маленькой, всех представлял, будто живых, — сказала Григориева, и огонек потух. — Останешься при мне, Захар. Пригляжусь к тебе... Бороду только отрасли, у нас мужу без бороды срамно.

Повернулась к своему письменнику, всё это время смирно стоявшему сзади (Захар про него и забыл):

— Размести его, Лука.

И поплыла из горницы, будто гусыня по воде. Захар мелко и быстро перекрестил живот.

Господи, удалось!

* * *

Выйдя из приемной залы (слово немецкое, прижилось недавно, в боярских домах теперь для важности так называли все большие горницы), Настасья сразу забыла про бойкого выгодцевского лазутчика. Думать теперь надо было о великом — о скором явлении московского волчищи. Порешил уже, значит, Иван Васильевич, что вдова Григориева ему поможет добыть Новгород. Будет гроза с бурей, и многие от того ненастья потопнут. Но для хорошего купца и буря — удача. Если чужие корабли сгинут, а твой выплывет и доставит товар куда следует, продать его можно много дороже. Соперники-то потопли, сбивать цену некому. Как говорится, идет гроза — разувай глаза.

Мысли были приятно-волнующие. В тихую, ясную погоду Настасье обычно бывало скучно, а под громом-молнией, под снежным бураном она будто молодеда. Весь город трепетал, ожидая приезда великого князя — в прошлый раз, четыре года назад, пролилось немало крови. Трепетала и Настасья, но не от страха, а от возбуждения. Не упустить бы чего, не сплеховать бы.

Теперь, после полученного известия, понимая, что за ткань ткется, уже можно было прикинуть,

какой по ней шить узор.

Но обычный порядок дня Настасья менять не стала — не любила этого. В предобеденное время она всегда обходила двор, расспрашивала приказчиков.

Сделала то же и нынче.

Доставили с Нерева-реки восемь бочек пчелиного воска. Каждую велела вскрыть, потерла пальцем, понюхала, полизала. Сверху воск был хороший, но Настасья этим не удовлетворилась. Повернула на посохе среднюю голову костяного змея, вытянула тонкий стальной стержень, проникла в бочку до доньшка. Вынула, поглядела. Внизу воск тоже был неплох. Кивнула бортному приказчику — тот облегченно вздохнул.

Заглянула в мукомольню — там проверяли новый круг с жерновами, привезенный из Риги. Работал ладно, молот рассыпчато, а сам невелик и нетяжел. Велела заказать таких на все григориевские мельни.

Обошла амбары, поговорила с прочими доставщиками. Письменник Лука шел на два шага сзади, скрипел писалом по бересте, потом всё важное перебелил на бумажные свитки. Ему указывать не нужно, сам знает. Настасья не держала близ себя помощников, за кем надо доглядывать, растолковывать, перепроверять.

Ладно.

Теперь — к башне, одарить-попотчевать Прокофия со стражниками. Дело было тоже каждодневное, нужное.

Башню на острожной стене Настасья отстроила за свои деньги, не поскупилась, и тура получилась загляденье, из всех самая лучшая. В городе ее так и прозвали: Настасьина башня. Еще Григориева взяла на полное содержание башенную стражу: шестнадцать кольчужных воинов, семнадцатый — десятник. Построила им понизу гридню, определила пропитание: по носатке пива и пшеничному калачу в день, в воскресенье — мясо либо курятина. Да жалованье по две медных пулы на день, а Прокофию-десятнику — целую серебряную копейку.

Вроде бы накладно, а выходило, что выгодней, чем держать собственных охранников. Вон Марфа Борецкая кормит до сотни бугаев мордатых, а случись «поток» — у себя в хоромах всё одно не отсидится: ворота разломают, стражу побьют. А Григориеву Настасью поди-ка возьми. Чуть что — перебралась со двора в неприступную башню, и Прокофий, с руки кормленный, благодетельницу не выдаст.

Чтоб молодцы не забывали, на чьих живут хлебах, Настасья повседневно сама приносила им жалованье, как зерно курам. Ну, несла-то снеть,

конечно, не сама — слуги, а вот слово заботливое говорила непременно.

Только исполнив это обязательное дело, пошла Настасья к себе в дом, где наверху у нее была светлица. Так называются горницы с окнами по обе стороны, чтобы женам и девкам исполнять тонкую работу — вышивать узор или сажать зернь. Хозяйка григориевского двора рукодельем отродясь не занималась, а светлицу пользовала, чтобы яснее мыслилось, и для разговора с ближними людьми.

Еще оттуда можно было смотреть как вперед, во двор, так и назад, в сад. В новгородской тесноте сады редки, потому что дорогая земля, а у Григориевой — широкий вертоград, с тенистыми деревьями и затейливо стриженными кустами: один шаром, другой башней, третий медведем, четвертый шеломом — всякие. Сынок Юраша очень любил сад, почти все время там торчал, даже под дождем.

Вот и сейчас — мать выглянула сверху — он стоял, отвесив нижнюю губу, и смотрел, как двое мальчишек играли в битки. Потоптался, помычал, протянул руку — тоже захотел с размаху, звонко, кинуть одной свинчаткой о другую.

Мальчишка битку показал, да не дал — за спину спрятал.

— Как с тобой играть, Юрод? У тебя на лбу клоп давленный!

Это он про родинку, стервец. И засмеялись оба, а Юрашка не понял, тоже загыкал.

Нахмурилась Настасья, окно тихонько притворила. Давно решила: пускай дразнят — Юраша не обидчив. Если же обидчиков наказывать — после втихую отозлятся на безответном, и не узнаешь. Юраша не расскажет.

Какого Господь дал сына, такой и есть. Все равно спасибо.

Мысль была привычная, вскользь. Не задержалась, вытесненная другими, важными.

— Олену Акинфиевну ко мне! — громко сказала Настасья в слуховницу — вшитую в стену трубу, другой конец которой выходил вниз, к письменнику Луке. Еще при деде Якове Дмитриевиче обустроено, он был великий придумщик на разные хитрые штуки. — Потом Изосима позови. И этого, нового, московского, как его...

— Захар, поповский сын, — прошелестела труба.

— Да, его. Олену — сразу, а эти двое пусть в приходной пождут.

Тут подумалось бабье: с подругами дорогими нынче увижусь — нужно приодеться. Или остаться в чем есть? Много им будет чести наряжаться. Еще догадаются, что нарочно.

Но плат все же решила поменять. Недавно

купила у бухарского купца новый, с переливом. Вроде черный, как положено вдове, однако со скрытым, неочевидным золотым вплетением. Если попадает солнечный луч или даже отсвет огня — вдруг возьмет и сверкнет волшебными искорками. Индийская затейность, в Новгороде такой еще не видывали.

Сняла домашний платок, по привычке сначала оглянувшись на дверь. Рассеянно почесала лоб, высокий и не по возрасту чистый. Там посередине темнело такое же, как у сына, родимое пятно, только не багровое, а нежно-розовое.

Каменная Настасья

Клоп давленный... Или всё ж велеть выдрать поганца? Он, кажется, Зайчихи, прачной бабы сын.

Настасья потрогала родинку, вспомнила, как муж называл ее «земляничкой», целовал. Провела ладонью по темным, густым, когда-то пышным, а ныне коротко остриженным волосам. Их Юрий тоже любил, перебирал пальцами, зарывался лицом, жадно вдыхал запах. Тридцать пять с половиною лет назад, над пустым гробом, Настасья поклялась себе, что больше никто, ни одна живая душа не увидит ни ее родинки, ни ее волос. Никто и никогда. В день похорон натянула вдовий плат до самых бровей и с тех пор при посторонних ни разу

не снимала. Людям и невдомек, что у боярыни Григорьевой на лбу такое же пятно, как у ее убогого сына. Кто знал, кто видел — померли.

Юрий, Юрий... Всего год прожили. Даже меньше — одиннадцать месяцев и три дня. Не стало Юрия, и Настасья будто тоже исчезла. Во всяком случае, та, прежняя, которая умела радоваться и пугаться, смеяться и плакать, жалеть и обижаться. Ничего от той Насти не осталось кроме родимого пятна. Взамен вытесалась другая — безжалостная и безрадостная. Каменная. Давнишнюю Настасью, из плоти и крови, не вернуть. И не надо. Камень одинокими ночами не замерзнет, под дождем не промокнет, под палящим солнцем не обуглится, под лютым ветром не согнется.

Какой Юрий был красивый, веселый, звонкий... Земля словно прогибалась под его шагами. Казалось, такой своротит горы, вычерпает море, и будут они двое жить вечно, и никогда не умрут. Обманула судьба. Уплыл муж за товаром и сгинул. Была страшная буря, и потонул корабль со всеми людьми, никто не вернулся. Не вычерпал любимый моря, а лег на его дно малой песчинкою, так что и хоронить потом было нечего.

А что сын родился такой, какой родился — это сама Настасья виновата. Слишком уж убивалась, прижималась тугим животом к

могильному холму, под которым была одна только память. Вот и принесла до срока — голубого головастика. Помереть он не помер, но на отца походил только носом с орлинкой. За нее Настасья своего Юрашу-Юрода, Юрия Юрьевича, и любила. Его одного на всем белом свете — как нищий любит свою драную суму с объедками, потому что ничего больше у него нет.

Утопшего Юрья Григориева во всем Новгороде кроме вдовы все давно забыли. Лишь она, старая уже, пятидесятипятилетняя, помнила.

И хорошо, что забыли. Он — только её, и боле ничей. Глухой вдовый плат до самых глаз — повседневное тому ручательство.

Когда Настасье было под сорок, вдруг нашло на нее бабье плотское неистовство, и она себя потешила. Но и с любовниками платка никогда не снимала. Месяца три прожила она срамно. Конечно, с осторожностью, без огласки. Брала в опочивальню молодцов — чтоб ликом красны, но не мозговиты. И чтоб не новгородские, а заезжие. На прощанье богато одаривала, наказывала впредь в Новгород не возвращаться, коли жизнь дорога. Потом телесный голод угас так же внезапно и больше не возвращался. Ну и ляд с ним. Августовским жарким ветром принесло, холодным ноябрьским сдуло.

В дверь из приходной, комнаты для ожидающих вызова, постучали — резко, отрывисто. Так делала только Олена. Все прочие скреблись по-мышьиному, а эта не церемонничала.

Настасья быстро повязала плат.

— Можно.

Вошла молча, взгляд исподлобья. Не любит и не скрывает, что не любит. Что не скрывает — хорошо, а любви Настасье Григориевой ни от кого не надобно.

— За Юрашей лучше доглядывай, — сказала она Олене строго. — Давеча, мне сказали, он в прихожей плакал, один. То ли зашибся, то ли кто втихую обидел. И ныне, глянь в окно, гуляет в саду без присмотра.

Молодка сверкнула очами:

— Сама ж ты мне велела жеребца в табун на случку отобрать! Юрья на конюшню с собой не возьмешь, он под копытный удар полезет! А и что с ним на своем дворе сделается?

— Ты не фырчи, а слушай. — Настасья была спокойна. — Враги мои знают, что хоть я и каменная, а есть у меня одна трещинка. — Кивнула в сторону сада. — Могут захотеть меня через ту трещинку расколоть и всё мое дело погубить.

Олена насторожилась:

— Снова с Марфой браниться будешь? Или другое что?

— Скоро великий князь в Новгороде встанет. Надо всякого ждать. Я занята буду, а ты двор, как крепость, держи. С Юраши глаз не спускай. Он один — моя слабость.

— Так бы сразу и объяснила, а то попрекаешь, — проворчала Олена. — Ясно. Не первый раз. Всё что ль?

— С тобою — всё.

Одну заботу Настасья из ума вынула, зная, что теперь за сына можно не тревожиться.

Олену она присмотрела лет десять назад.

Прогуливалась однажды по берегу Волхова, вдоль торговых пристаней, дожидаясь, пока с ладей разгрузят товар, и увидела необычную драку. Рыжая девчонка-подросток отбивалась от двух взрослых парней-оборванцев — таких бездельцев из черного люда, шильников, по городу много болтаются, дурных со скуки.

Прижавшись к амбару, девчонка отмахивалась здоровенным дрыном, а к ее ногам жался трясущийся собачонок — увечный, трехлапый. По крикам, по брани Настасья скоро поняла, что щенок девкин и что парни от скуки захотели его отобрать, потешиться, а рыжая не дает.

Стала смотреть — будто почувствовала что-то. Рыжая дралась не по-девчачьи: без визга, молча. Вырвали из рук дрын — вцепилась зубами.

В конце концов шильники сбили ее наземь, принялись пинать ногами. Настасья всё смотрела: интересно, заплачет ли, запросит ли пощады. Нет, ни звука.

Даже когда злыдни схватили собачонку и нарочно, у девчонки на глазах, расшибли башкой о стену, рыжая не пискнула. Глаза на окровавленном лице бешено сощурились.

Крикнула:

— Запомнила вас. Найду и убью!

Парни заржали, пошли себе дальше. А Настасья подозвала слугу и велела разузнать про девчонку — кто, чьих, откуда. Появилась некая мысль.

Оказалось, что семья старинная, новгородская, житего сословия, раньше из нее и улицкие старосты выходили, однако ныне захудала и в тяжких долгах. Кормилец помер, у вдовы кроме дочери Олены еще четверо младших. На хлебе с квасом живут.

Тогда Настасья выкупила у матери Олену в заклад, на полную свою волю. Взяла в дом.

Девчонка сначала дичилась, злилась, что ее от своих взяли, но со временем, может, и приобвыклась бы (Настасья ей плохого не делала, не обижала), да случился мор и все Оленины домашние померли. «Это ты виновата, — бесстрашно сказала она госпоже, вернувшись с

похорон. — Кабы я с ними жила, не дала бы помереть. Ненавижу тебя!»

За дерзость Настасья, конечно, приказала ее выпороть — говорено было при людях, такого спускать нельзя. Но про себя окончательно решила: девка годная, ошибки не будет.

Дело в том, что с Юрашей было нехорошо. Сама Настасья все время занята, приглядывать за сыном некогда, а слуг обижать приходится часто, как же без этого, и некоторые отводят душу на убогом, не уследишь. То синяк у него, то след от щипка, один раз — ожог. Кто обидел — не допытаешься. Народу на дворе много, чужая душа потемки. Поди знай. Пробовала назначать Юраше и мамок, и дядек. Никому доверия нет. Смотрят плохо, а случится лихое дело, не защитят.

Если Олена так билась за увечного щенка, значит — природная заступница. Не попробовать ли?

Попробовала и осталась очень довольна. Девчонка берегла Юрашу старательно, глаз с него не спускала ни днем, ни ночью. А уж как он к ней привязался — не передать. Будто теля к мамке, даром что поначалу она была ему ниже плеча.

В то время Настасья и в голове такого не держала, что Юрашу можно на Олене женить. Какой из Юрашки муж?

Однако в тридцать лет сын вдруг замужал. На

щеках вылезли перья, разросшиеся в бороду, голос из жидкого сделался густым. Как-то раз, бесшумно войдя, Настасья застала Юрашу за рукоблудным делом. Он испугался, заплакал, а она задрожала от радости. Неужто род Григориевых может продолжиться?

Тогда их и поженила.

Только зря всё. Поманила надежда, да обманула. Пять годов уже прошло — ничего. Было ли у них с Оленой что, нет ли — неизвестно. С сыном не поговоришь, у невестки не допытаться, только волчицей ощерится.

Несколько раз Настасья ночью прокрадывалась к их опочивальне. Слушала под дверь. Разок, на рассвете, даже потихоньку заглянула.

Спят вместе. Он носом ей под мышку уткнулся, она его веснушчатой рукой обнимает за плечо. Может, спят только, а более ничего и не бывает...

Еще придумалось вот что. Парились с Оленой в мыльне, и Настасья подала условный знак. Крепкорукие бабы-банщицы схватили девку, уложили, раздвинули ноги. Настасья полезла проверять — цела ли, нет ли. Но не вышло. Олена прокусила одну руку, другую сшибла ударом локтя, вырвалась, кинулась к печи, схватила ковш с кипятком. Шипит: «Убью!» Пришлось отступить.

После того случая Настасья решила: не будет внуков — ладно, а всё же есть кому оставить дело. Олена и честь Григориевых соблюдет, и Юрашу не обидит.

Начала учить невестку торговому и хозяйственному искусству. Олена оказалась сметлива и ухватиста, главное же — люди ее слушались. Они всегда чувствуют силу.

На пробу боярыня послала Олену за товаром в далекий Кириллов — справилась не хуже опытного приказчика. Но больше надолго не посылала — очень уж Юраша без жены тосковал, с утра до вечера плакал.

И вот еще что.

Какое-то время тому, не так давно, Настасья вдруг вспомнила, с любопытством спросила:

— Помнишь шильников, что твоего щенка трехлапного убили?

Олена удивилась, откуда свекровь знает, но ничего не спросила — гордая.

— Помню.

— И что? Убила ты их, как грозилась? — усмехнулась Настасья.

— Нет.

— Пошто так?

А Олена в ответ, тихо:

— Один следующей зимой замерз спьяну. Второму кто-то башку проломил.

Усмешка сползла с Настасьино лица. Выходит, искала — и нашла...

* * *

— Иди к Юраше. Все прочие дела до времени оставь, — сказала Настасья на прощанье. — Хозяйство будет Лука вести.

Выпустила невестку через малую дверцу, что вела во внутренние покои, сама же подошла к тайному оконцу, через которое просматривалась приходная — еще одно хитрое устройство, оставшееся с дедовых времен. Он, покойник, говаривал внучке: «Гляди за всеми, да так, чтобы они не знали. Тем и сильна будешь». Она, маленькая, не понимала, но потом дедову мудрость оценила. Зоркий глаз сильнее кулака.

Изосим с поповским сыном уже сидели, ждали вызова. Разговаривают меж собой иль нет?

Не разговаривали. И расположились поодаль друг от друга.

Изосим скучающе сложил руки на груди, глаза прикрыты. Захар примостился на краешке лавки, смотрит испуганно.

Есть чего напугаться. Кто видит Изосима впервые — глазами хлопают, а многие бледнеют.

У Изосима только пол-лица: красивый узкий лоб, черные брови полумесяцами, синие глаза с

длинными ресницами. Ниже — маска из тонкого серебра. У ней точеный нос, сверкающий подбородок, красные эмалевые губы с щелью вместо рта.

Раньше Изосим был писанный красавец, гуляка, удалец, но четыре года назад, во время войны, в первой же стычке, под Коростынью, попал с другими новгородцами в московский плен. Великокняжеский воевода велел всем захваченным обрезать носы-губы, да отпустить восвояси — чтобы ужасным этим зрелищем вселить в непокорных трепет.

Явились тогда в город с Коростыни семьдесят калек, похожих на полуразложившиеся трупы: вместо носа запекшийся бурый треугольник, под ним черепной оскал голых зубов. Никого не узнать. Жалобно ноют, мычат, слов не разберешь. Люди от них разбегались. Тогда-то, еще до главного сражения, новгородцы войну и проиграли: очень уж страшно стало. Что-что, а вгонять врагов в дрожь низовские умеют...

Все обезображенные потом померли тяжелой смертью, сгнили заживо. Один только Изосим и остался. Потому что Настасья взяла его к себе, самолично выходила. Спасла от гнойной хвори особенными мазями, выкормила куриным отваром через трубочку. Много потратила и времени, и денег — зато получила верного, нужного

помощника, без которого теперь, как без руки.

Если Олена — десница, которая на виду, то Изосим — шуйца, таимая за спиной. А при извилистой новгородской жизни левой рукой можно сделать больше, чем правой. Особенно, если шуйца гибка, хватка и когтиста. И если ты сама — левша.

Отворила дверь, вышла к ждущим.

Оба поклонились — Захар, вскочив, низко, по-московски. Изосим — слегка, гибко.

— Пошлешь сейчас к Ефимии: скоро буду к ней, — велела ему Настасья. — По неотложной надобности. К Марфе тоже пошли человека. Чтобы явилась к Ефимии без задержки. Посланный пусть передаст: «Липицкая Богоматерь зовет».

У Настасьи с Борецкой был уговор: если одна другую позовет именем Липицкой Богоматери (священной иконы, написанной в память старинной победы над Низом), распри и обиды в сторону — значит, дело великое, общеновгородское, отказывать нельзя. Обе на том в Софийском соборе, при свидетелях, целовали крест.

— Пойдете оба со мной к Ефимии Горшениной. Ты, Захар, будешь говорить, а ты, Изосим, смотреть. После с тобой потолкую.

Изосим молча наклонил голову. Многие были уверены, что он немой — так редко безносый

разверзал отсутствующие уста. Но если уж заговаривал, то всегда ясно, кратко и к делу. Что удивительно, безо всякой гугнявости — бес знает, как ему это удавалось.

— А что мне говорить? — робко спросил Захар, растерявший былую развязность. — Про слышанное в Крестах?

— Да. Но про то, как Иван с Борисовым меня поминали, молчок. И строго говори, чинно, не скоморошествовай, как давеча.

Захар приложил руку к груди:

— Нешто я не понимаю, боярыня?

— Ничего ты пока не понимаешь. Коли сообразительный — разберешься. А коли нет — прогону в шею.

Григориева перекрестилась на висевший в углу образ:

— Горячее времечко настает. Кому обжечься, кому вареным лакомиться.

Заклятые подруги

Ефимия Горшенина прозвищем Шелковая жила как раз посередине между давнишними соперницами, славенской вдовой Григориевой и неревской вдовой Борецкой, в самом сердце великого города — в Граде, на Епископской улице. Сойтись для большого разговора великие

новгородские женки могли только у Ефимии Ондреевны, умевшей ладить с обеими непримиримыми врагинями.

Горшенинский терем по сравнению с соседними громадами Святой Софии, владычьего дворца, Грановитой палаты выглядел игрушкой — маленький, ладный, белёный, с крышей в красно-зеленую шашку. Огороженного двора не было вовсе — внутри Града огораживаться незачем, вокруг и так каменные стены, к тому ж Ефимия никогда ни с кем не ссорилась. Она и оружной челяди не держала, только комнатную прислугу, всё больше баб и девок, опрятных, ловких и улыбчивых. Свои товары, привозимые водой из дальней Европы и конными караванами из ближней Ливонии, Горшенины хранили в подклете Святой Софии, куда никакой вор не залезет и тать не вломится.

Приходить раньше Борецкой и потом ее ждать Настасье было зазорно. Потому она задержалась на Волховском мосту, сплошь застроенном торговыми лавками, посмотрела на товары, вроде как прицениваясь. Боярыню Григориеву, конечно, узнавали — пялились, но она привыкла.

Хотела купить темно-красные наручи с агатовой отделкой, в самый раз для вдовьего наряда, но прибежал слуга, поставленный сторожить на Великой улице: появились Борецкие.

Тогда Настасья тоже двинулась в сторону Софийского берега, где над бело-розовой стеной Града сияли тусклой позолотой купола древнего Собора.

На Епископскую улицу вышли одновременно, с двух концов: Григориева со своими провожатыми, Борецкая со своими. Издали друг дружке не глядя поклонились, на одинаковую нижину — будто аршином отмерили. Притом обе не повернули головы, однако, скосив взгляд, Настасья отметила, что Марфа прихватила с собой тоже двоих: сына Федора и Корелшу, начальника над паробками, боевой челядью. Оба для драки хороши, но для совета негожи. Это Борецкая страшает — напоминает, чей нынче в Новгороде верх, чья сила. Но примчалась-таки, ворониха старая. Знает, что у Настасьи Каменной всюду глаза и уши, хочет новости послушать. Тревожится.

Сошлись перед самым крыльцом, снова поклонились, и теперь уже осмотрелись как следует, в упор.

Давненько вот так, лицо в лицо, не виделись. С расстояния, на Господе, на молитве в Соборе или на больших пирах всегда располагались в противоположных углах, окруженные друзьями и сторонниками, а близко не сходились года четыре, с Московской войны.

Были они ростом вровень, обе высокие,

но Настасья широкая и мясистая, а Марфа сухая, костлявая. И та и другая во всем вдовьем, однако и тут разница: Каменная одета хоть и неброско, но в дорогое, нарядное, Марфа же в простое черное сукно, словно монахиня. Борецкая была вдова двоекратная, но скорбела не по мужьям, а по старшему сыну Дмитрию, казненному Москвой четыре года назад, после Шелонского разгрома.

По носатому морщинистому лицу Марфы прошла злая волна, неистовые огненные глаза впились в Настасью. Григориева ответила взглядом спокойным, непроницаемым.

— Взойдем что ли, Исаковна? — сказала насмешливо. — Стары мы с тобой в переглядки играть.

— Взойдем, Юрьевна, — в тон ответила Марфа.

В Новгороде почтенных женщин звали либо по отчеству, либо по мужеству — как захочешь и как поведется. Три великие женки предпочитали второе.

У Марфы последний муж, Исаак Борецкий, был степенной посадник, первый в Новгороде человек — грех не напомнить. Ефимия выставляла свое от товарок отличие: у нее единственной муж был жив. Про Настасью удивлялись, а бывало, что и спрашивали — это какого же она Юрия? Ну и пусть. Зато каждый раз, когда ее величали

«Юрьевной», он будто на миг вставал рядом.

Хозяйка встретила на широкой лестнице. Стояла меж двух высоких серебряных многосвечников, будто осиянная, радушно простирала руки.

— Пожалуйте, гостьюшки дорогие.

Улыбка такая, словно для нее на всем белом свете нет никого желаннее Марфы с Настасьей.

Ефимия Ондреевна была несильно моложе вдов, ей шло к пятидесяти, но по виду казалась им дочерью. Лицо гладкое, нежное от мазей и притираний. Стан девичий. По глухим рекам до Северного моря, за мехом и рыбьим зубом, она, как Борецкая, не плавала, из низовского грязнодорожья хлебных караванов, подобно Григориевой, не водила. Путешествовала Шелковая много, но необременительно. Ее муж езживал посланником в ганзейские города, в Неметчину, даже в далекую Венецию, и она с ним, однако со всеми удобствами: с многими слугами, медленно, выжидая хорошей погоды. А родила Ефимия, несмотря на долгий брак, только единожды. Знатные новгородки вообще плодились необильно, соблюдали в детородстве меру: производили двух детей, трех, если кто очень чадолюбив — четверых, а потом оберегались, на что имелись особые бабьи хитрости. Слишком много детей заводить —

богатство дробить. Чтоб непременно сыном обзавестись — такого не было. Наследство в Новгороде передавалось и дочерям. А младенцы мерли редко, не то что в других краях. Потому что заботливый уход и чистота.

Ласковая со всеми, даже с людьми небольшими, Ефимия поприветствовала каждого. Улыбнулась и ходячей жути Изосиму, и приотставшему по робости Захару. Одета она была тоже на иноземный лад, в немецкое платье, не широкое, а узкое, перехваченное жемчужным поясом и с кружевным воротом; голову вместо платка или маковника прикрыла прозрачной кисеей, сквозь которую (для замужней неподобно) просвечивали золотые волосы. Ну, Ефимия она и есть — Ефимия. Позволяет себе такое, что другие не смеют.

Борецкая прошла первой, а Настасью хозяйка придержала за рукав, шепнула:

— Не думай, не я их позвала. Сами пришли.

Непонятные слова объяснились в столовой зале. Там, с Ефимьиным мужем стояли двое: степенной посадник Василий Ананьин и боярин Иван Лошинский.

Настасья скрипнула зубами. Вот отчего Марфу долго ждать пришлось! Получив вызов на встречу, та послала за своими подручниками. Ананьин в посадники ею поставлен, во всем

послушен, а Иваныша Лошинский ей родной брат, старинный Настасьин ненавистник. Получалось, что марфинских аж четверо.

Пускай. Сила не в числе, а в уме и знании — так говаривал покойный дед. Ума у Марфы, может, и не меньше, зато сегодня Настасья знала больше и успела всё обдумать.

Едва кивнув старому лису Ананьину, а Лошинского вроде бы не заметив, с Ефимьиным мужем Каменная поздоровалась щека в щеку, почти родственно.

Ондрей Олфимович Горшенин происходил из древней новгородской семьи, ведущей родословие от Рюриковой дружины. Был он хорош собою — прямо заглядение. И высок, и представительен, борода и длинные волосы серебрятся, словно мех чернобурки, голос звучен, движения величавы. Притом совсем не дурак, и хитрости в избытке, а все же никчемн, ни на что иное кроме как подле жены красоваться, не годен. И не в том беда, что порочен нравом, держит подле себя вихлявых отроков с насурмленными глазами (это бы ладно, Новгород — не Москва, всяк живи-греши, как хочешь), но боярин был будто трава, клонился под всяким ветром. Из передних людей никто его в серьезный счет не брал, за глаза называли не Олфимовичем, а Ефимьвичем, по жене.

На столе было выставлено легкое, уместное

при важной беседе угощение, сплошь заморское — вино, валашские орехи, засахаренные фрукты. Зала напоминала жилище какого-нибудь ганзейского богатого купца с Немецкого двора. Повсюду шкапы и шкафчики, вместо скамей кресла и стулья, множество хлипких столиков, и на них не для пользы, а единственно ради красы фигурные вазы с кувшинами и прочими бездельями. Стены и потолок обшиты гладким деревом, украшены разноцветными иконами европейского письма, и на тех иконах не святые угодники, но всякая нерусская чепуха: шипастые немецкие кремли, грифоны с единорогами, непристойно голые ангелы, улыбчивые богоматери.

Кресел у стола было только три, и их заняли женки, мужчинам и в голову не пришло. Даже степенной примостился на стуле, справа от Марфы. Слева сел брат Иван; сын Федор как молодой встал у матери за спиной; квадратный, руки до колен, Корелша отошел к стене — челядинцам у стола было не место. Настасьины тоже чуть отступили.

Получилось, что Григориева оказалась одна напротив Борецкой и трех ее радетелей — Шелковая с мужем сидели в торце.

Но мужчины значения не имели. Каждый из них здесь был взят к беседе не для голоса и решения, а чтобы своим присутствием нечто выказать.

Ефимия посадила Ондreja, чтобы выставиться перед товарками: вы-де вдовы убогие, а я, слава Богу, мужняя жена (хотя, по Настасьиному мнению, лучше уж никакого мужа, чем такой).

Борецкая — тоже понятно. Привела сына — сильного, красивого, здорового, потому что у Каменной сын известно какой, а у Ефимьи только дочь. Но у Марфиного Федора кличка была «Дурень». Годился он только саблей махать, да девок портить. Вот старший сын, Дмитрий, тот был сокол, но нет его, казнен Москвой.

За посадником Марфа послала, чтоб напомнить, чья нынче в Новгороде власть. Звероподобного Корелшу, начальника над громилами, прихватила для угрозы. Ну а Ваньшу Лошинского, пса брехливого, — это чтобы Настасью позлить.

Так ведь и сама Каменная тоже выбрала спутников не без умысла. Захара — не только для рассказа, но чтоб он своим московским обликом лишний раз показал остальным: у Григориевой всюду глаза, даже на Москве. Изосим же своей серебряной маской, вечно улыбчивым эмалевым ртом и ледяным взглядом заставлял всех ежиться. Ефимия на него старалась не смотреть, Марфа взглянет — поморщится. А кроме того безносый мог, посмотрев и послушав, потом предложить дельное, чего сама Настасья не придумала бы.

Сначала, как водится, разговор был окольный. В Новгороде сразу к делу приступали редко.

Шелковая завела про погоды: дескать, половина ноября уже, а снега еще нету и когда, мол, уже дороги встанут, чтобы на санях ездить. Но этого разговора никто не поддержал.

Посадник пожаловался, с намеком, что ныне на торге хлеб вздорожал и в народе от того ворчание. Намек был против Настасьи — первыми по житной торговле числились Григориевы, и цены зависели от них.

— Не всё бы о своей мощне печься, в такое-то время. О Новгороде сейчас думать надо, об общем деле, — наставительно молвил Ананьин, на Каменную, впрочем, не глядя.

Зато Лошинский сразу впился.

— А что ей, худородной, о Новгороде заботиться? — ощерил он редкозубый рот, козья бороденка затряслась от ненависти. — Ее дед на Торге шильником начинал.

Дурень Федор ухмыльнулся, через плечо матери потянулся к кубку с вином, шумно глотнул.

Каменная презрительно молчала. Она была урожденная Шельмина, из рода нового, поднявшегося меньше ста лет назад, но новгородцы

считались не столько стариной и знатностью, сколько богатством.

Про то же сказала и Шелковая, с мирной укоризной:

— У нас не Москва, мы людей по достоинствам ценим. Если ты умен и удачлив, станешь хоть боярином, хоть посадником. На том стоим.

Марфа чуть качнула головой — ее брат прикусил язык.

Помолчали.

Ананьин осторожно спросил:

— Ты, Настасья Юрьевна, для какого разговора позвала?

— Звала да не тебя, — отрезала она. — Разговор будет женский, не для мужских ушей.

— Понесла что ли, боярыня? — сжеребятничал Дурень и сам же, один, заржал.

Мать цыкнула на него, как на собачонку:

— Псст! — И Настасье: — Женский так женский.

Поняла, что при лишних разговора не будет.

Ефимья сказала мужчинам радушно:

— Посидите, гости, попотчуйтесь. А мы пойдем в мою светелку. Про наше, бабье, поговорим.

У Ананьиного и Лошинского лица сделались тревожны, Горшенин масляно улыбнулся, по нему

никогда не поймешь, о чем думает.

Женщины поднялись, мужчины остались ждать, что решат великие женки.

Подле самой двери Настасья махнула Захару — тот подлетел, семена от показного усердия.

— Важно ступай, — шепнула она. — И так на шпыня похож, с бритой рожей.

Он приосанился, расправил плечи, пошел за женами важно.

* * *

Тесная светелка была похожа на узорчатую шкатулку. Борецкая покосилась на златошелковые стены, бухарские ковры, венецианские зеркала неодобрительно. Она уюта и красоты не любила. У нее самой в доме все палаты были просторны, воздушны, по-монашески голы.

Сели так: Марфа прямо, словно гвоздь вколотила, Ефимия — легко, по-птичьи, Настасья — неспешно, увесисто.

Без мужчин сразу перешли к делу, зря время тратить не стали.

— Вчера он уже в Крестах был, — сказала Григориева. — И дале поехал.

— Это вся твоя весть? — покривилась Борецкая. — Без тебя ведомо. Следят мои, доносят. Вчера Иван проехал от Крестов всего двенадцать

поприщ и встал лагерем. Затеял на зайцев охотиться. Не спешит. Томит нас нарочно. Когда до города доберется — один Бог знает.

Захар из-за Настасьиного плеча тихо молвил:

— Великий князь к Новгороду будет через шесть дней. В город не войдет, встанет в Рюриковом городище, у наместника Семена Борисова.

Каменная слышала про это впервые, но виду не подала. Что ж? Она ведь у Захара про то не спрашивала. Отметила про себя: своеволен. Ему было велено помалкивать, пока не спросят, а влез. Но получилось кстати.

Объяснила:

— Захар это, ближний мой человек. Расскажи боярыням, что мне сказывал.

Говорил Захар как должно — почтительно, но без подобострастия. Услышав, что московский государь более всего интересуется тремя новгородскими женками, Шелковая с Железной переглянулись.

— Войска с ним сколько? — спросила Марфа. — Мне про это разное доносят. Не прикидывается ли он, что с миром к нам идет? Не захватит ли город?

Захар, молодец, ответил не сразу — сначала взглядом испросил у Настасьи разрешения. Она

кивнула.

— Чтоб город брать мечом, войска у Ивана Васильевича мало. Но чтоб себя оборонить — достаточно. Он осторожен. Оружных с ним три тысячи человек, да слуг и обозных с тысячу.

— Значит, все же не воевать пришел, волчище, — вздохнула Горшенина. — И то слава Богу.

Борецкая смотрела на григориевского человека недоверчиво.

— Да кто ты такой, что Ивановы разговоры слушаешь и даже тайные его думы ведаешь? Откуда такая близость?

— О том ведомо госпоже Настасье, а тебе, боярыня, не прогневайся, знать незачем, — тихо, но твердо ответил Захар, и тут Григориева окончательно поняла, что из парня будет прок.

— Теперь поди, — отослала она рассказчика.

Говорить прямо и начистоту можно было только втроем.

Сразу и начала:

— Нам с тобою, Марфа, дружка дружке голову морочить нечего. Врагинями были, врагинями и останемся — до тех пор, пока я тебя в прах не сотру. Либо ты меня, — добавила Настасья, усмехнувшись и тем показывая, что во второе не верит. — Но сейчас у нас всех одна туга, одна беда, и нужно нам, великим женкам, стоять вместе, иначе

сгинем и отчину свою погубим. Если опять выйдет, как в семьдесят девятом году — я в лес, ты по дрова, Новгороду конец...

Это она напомнила про войну 6979 года, когда Борецкая и ее посадник-сын звали биться с Москвой, а Настасья Григориева уговаривала решить дело миром.

— ...Не послушала ты меня тогда, переломила вече на свою сторону — и что? Сколько тысяч народу пропало, и Дмитрий твой головы не сберег. А сделай мы тогда по-моему, откупились бы, перехитрили бы Ивана.

Сверкнув яростными глазами, Марфа перебила:

— Это ты непустила нас с Псковом замириться! Если бы псковские нам в спину не ударили, не победить бы нас Москве! Я хотела в Псков отправить послом Аникиту Ананьина, он умен и речист, и жена у него псковитянка. Он дело бы сладил! Но твоя свора встала насмерть: с Псковом-де союзничать нельзя, Иван-де от этого еще пуще взбеленится, от Новгорода камня на камне не оставит! Да коли бы тебя тогда за измену на поток поставить, из города прогнать, еще неизвестно, чья бы взяла — низовская или наша!

Настасья подалась вперед, схватилась сильными пальцами за край стола. Ей было что ответить на обвинение в предательстве.

Вдруг Ефимия, всегда тихая и мягкая, как шлепнет ладонью — подскочил хрустальный кувшин с клюквенным взваром, на скатерть полетели красные, будто кровавые капли. Обе ругательницы изумленно обернулись.

— Хватит вам из-за старого собачиться! — прикрикнула на них Шелковая. — Ныне беда идет хуже тогдашней. Иван — хитрая лиса, он не спроста явился. Задумал он что-то. Ему надо одного: лишить Новгород всех вольностей и превратить нас в своих холопов, чтоб мы перед ним на коленках ползали, как его московский народишко. Ныне он, набрав добычи, просто так не уйдет. Он хочет нам хребет переломить, а какой дубиною ударит, мы не знаем. Опомнитесь, женки! После догрызетесь — когда минует гроза. Сейчас нам нужно в три ума думать. Кроме нас никто Новгорода не спасет.

И сошла гневная волна, прокатившаяся от Марфы к Настасье. Сделалось тихо.

— Сон я видела, женки, — сказала Борецкая уже другим голосом.

Настасья поморщилась. Что Марфа на Совете Господ свои сны рассказывает, это ладно, но в малом-то кругу зачем? Вещунья... И дома у нее, говорят, всё псалмы поют, ладан курят, прикармливают калик с юродивыми.

— Что за сон? — спросила вежливая Ефимия.

— Будто чайки над водой летают, а в воде, на самой поверхности рыба плещет, играет, много ее. Чайки вниз падают, выхватят по рыбине — остальные на глубину уходят. Взлетят чайки — рыба наверх возвращается. И снова, и снова.

— Ну и что? — недовольно молвила Каменная. — Такое и без сна увидишь. Выдь вон на Волхов или на Ильмень.

— А то, что сон этот — в подказку дан, не просто так. Я только сейчас поняла.

Лицо Борецкой осветилось. Она искала глазами, на что перекреститься, и не нашла — в углу вместо иконы висела картина, на ней какая-то круглолобая немкиня, будто живая.

— Богоматерь? — спросила Марфа.

Шелковая кивнула:

— Мадонна. Я ее из Венеции привезла.

Поплевав через плечо, чтобы отогнать бесов (Богоматерь была басурманская), Железная Марфа все же на нее перекрестилась.

— Да, поклевали нас низовские чайки в семьдесят девятом. Многих, и моего Митьшу среди прочих. А после, наевшись, улетели, и вода снова стала наша. Нам Москву над водой не одолеть. У них клювы и когти железные. У нас — серебриста чешуя да красноперы плавники, боле ничего. Плохие мы воины. И не в войне только дело. Нам с великим князем не совладать, потому что ему

своей державой править легко: как приказал, так и сделают. У нас же, в Новгороде, народ вольный, и каждого нужно уговорить, убедить. Они быстрые, мы медленные. У них одна голова, у нас тысяча.

— И что ж теперь, сдаваться Ивану? — удивилась Настасья, никак не ожидавшая от боевитой Марфы подобных речей.

— Не сдаваться. А быть умными. Про тысячу голов — это я зря сказала. Голов в Новгороде только три, и все в этой комнате. Права Ефимия.

— Ты к чему клонишь? И причем тут сон?

— А вот при чем. Нам есть куда от чайки спрятаться. В поле мы вояки плохие, зато у нас стены крепки, а на стенах — новые немецкие пушки. Хочет Иван встать за городом, у наместника? Вот и хорошо. А мы ворота запрем, на стены стражу поставим — пускай видит. Будем сами к нему ездить, а в город не допустим. На глубине отсидимся.

Ефимия с Настасьей переглянулись. Железная снова вела дело к войне, только на сей раз оборонительной. Как это законного великого князя в город не пускать?

Правда и то, что в семьдесят девятом, после поражения на Шелони, только стенами и спаслись. Марфа тогда велела сжечь все посады, колеблющихся казнила смертью, велела палить из всех пушек. И отступился Иван, удовольствовался

откупными деньгами и присягой на верность. Но ведь он, поди, тоже не дурак и к такому обороту изготовился? Затеет осаду, вызовет с Низу полки, разорит всю Новгородчину — и возьмет измором. Помощи-то ждать неоткуда.

— Сон твой и вправду вещей. — Настасья изобразила задумчивость. — Да не тем, о чем ты думаешь. Ты про серебряну чешую сказала. Вот в чем наша сила и наше спасение.

— В чешуе? — сморгнула Борецкая.

— В серебре.

Шелковая наклонилась к Настасье:

— Вижу, придумала ты уже что-то. Говори.

— Иван хоть и великий государь, а все же должен с ближними людьми считаться. С ним едут братья, бояре, воеводы. Все голодные, жадные. Это они его к войне толкают, зарятся на новгородскую добычу. С них-то мы и начнем. Усытим каждого, потихоньку, серебром. Кого подкормим, а кого и приручим. Чешуи у нас, слава богу, много. Скинемся всем боярством и купечеством, тряхнем мошной. И владыка пускай тоже раскошелится, он всех нас богаче. Соберем, женки, Господу и будем на ней говорить едино. Назначим, сколько с кого взять. Распределим меж собой московских — кто кого будет покупать. Иван до денег тоже жаден, с ним надо торговаться долго. Когда он увидит, что братья и бояре воевать больше не хотят, а хотят

домой хабар везти — глядишь, и великий князь покладистой станет.

— Хорошо придумано, — сразу объявила Ефимия. — Это мы можем, это мы умеем.

Не заспорила и Борецкая. Сказала лишь:

— Нужно будет позвать сюда Василия Ананьина, объявить первому. Уважение оказать, он же степенной посадник.

— Я бы на твоём месте с ним поговорила с глазу на глаз. Так оно ещё краше выйдет, — расщедрилась на совет Настасья, довольная, что самое главное решилось, и быстро. — Давайте главных низовских между собою поделим — кому кого обхаживать. Братьев великокняжеских могу на себя взять, если город мне деньгами пособит, они оба — жадные пауки. Возьму и наместника Борисова.

— Я могу главных московских воевод — Данилу Холмского, Стригу Оболенского. Чем мужи свирепее, тем они у меня лучше под дудку пляшут. Как медведи у скомороха, — лукаво улыбнулась Горшенина.

Марфа почернела лицом при поминании князя Холмского — это он разбил новгородское войско под Шелонью и захватил Дмитрия Борецкого в плен.

— Ты у нас необходима, непритворчива, — мягко сказала ей Шелковая. —

Держись от московских подальше. Деньгами поможешь.

Тут же начали считать — Григориева вынула из своего чудо-посоха скрученную бересту, стала выводить цифирь: сколько дадут сами женки, да сколько брать с великих родов, с архиепископа, с купеческих сотен. В Новгороде водилось много богатых людей, с кого есть что взять.

Денежный счет все три любили и за увлекательным занятием помягчили, заговорили о ненасушном. Об оставшихся в столовой мужчинах и не вспоминали — сколько нужно, столько и подождут.

Притомившись, сделали перерыв. Настасья с Ефимией попили взвара, поели пряников. Постница Марфа сладким не оскоромилась, выпила чарку воды с уксусом, переломила черный хлебец.

— Смотрю я на вас, бабоньки, и не возьму в толк, что вы такие скучные? — молвила Шелковая, разглядывая гостей. — Ты, Настасья, живешь, будто телегу с камнями волочишь. Ты, Марфа, себя до смерти хоронишь, словно схимница. У нас с вами сейчас самые лучшие годы. Ум есть, сила есть, никто нам не указ, и нестарые еще. Живи да радуйся.

— Хорошо тебе говорить, при живом муже, — качнула головой Григориева.

— Горя ты не видала, Ефимия, — прибавила

Борецкая.

У Горшениной с лица пропала улыбка.

— А много ли вы про меня, дорогие подружки, знаете? Может, я просто виду не подаю? Жизнь горем никого не обходит, но ты горькое выплюнь, а не можешь выплюнуть — проглоти, заешь сахарком и не жалуйся. На жалких черти ездят. Если ты упиваешься горем, или хворобой, или тем, чего тебе не хватает, — такую и будешь: горькой, хворой, несытой. А если радуешься красоте, милоте, солнышку — будешь красивой, милой и солнечной.

Настасья подумала, что, наверное, не шибко весело иметь такого мужа, а у Ефимьиной замужней дочери уже третье дитя рождается мертвым. Внуков как не было, так и нету.

Про мужа Горшенина будто подслушала. Дернула плечом, нежное лицо вновь осветилось беззаботной улыбкой:

— Вот вы обе со своим вдовством носитесь, по покойникам скорбите, а я, честно сказать, не пойму, на что мужья вообще нужны? Много ль мы с вами от них хорошего видели? Твой Исак Андреич, — обратилась она к Марфе, — был мужик старый, траченный, какая от такого радость? А первый был вовсе лютый зверь. Когда его черт забрал, поди, рада была?

Каменная с интересом поглядела — что на это

Борецкая? У той сухое лицо не дрогнуло, лишь на миг потускнел взгляд.

А ведь Настасья помнила ее девушкой, почти девочкой, лет сорок назад. Видывала в Соборе и несколько раз на гостьбищах.

Марфа Лошинская была черненькая, тоненькая, с огромными испуганными глазами. Шестнадцати лет ее выдали за боярина Филиппа Никитина, и после того она надолго исчезла. Сначала говорили, что муж ее из дому не выпускает, бьет, всяко терзает и что однажды ее якобы из петли вынули. Потом перестали говорить, забыли. У Никитина будто сами по себе появились двое сыновей и даже стали подрастать. А потом Филипп вдруг враз помер, и Марфа вышла на волю уже такой, как ныне: высушенной, неистойвой, с горящим взглядом, и взяла семейное дело в железные руки. Бог знает, через что она там взаперти прошла и какой ценой обрела свою силу. Настоящая сила — это Настасья знала по себе — обретается только через большое горе и тяжкое испытание. А помер Филипп Никитин странно. В гробу лежал синий, распухший. Поговаривали нехорошее, но никто о нем не жалел, поганый был человек. Достанься Настасье такой муж, она не стала бы столько ждать, в первый же год отравила бы. Нет, не осуждала она Марфу, даже если сплетня была правдива. Те двое сыновей,

никитинские, потом в северном море потонули, и многие в том увидели Божью кару: извела-де супруга, так и детей от него отдай. Но к тому времени Марфа уже снова была замужем, за посадником Исааком Борецким и родила себе еще двоих, Дмитрия и Федора. Вот ведь судьба (Настасья слегка даже пожалела врагиню): остаться с одним сыном из четырех, и тот — Дурень.

Ефимия обернулась к Григориевой:

— Твоего мужа Юрия, Настасьюшка, я не застала, девчонкой была, но...

— Только Юрия моего не трожь! — перебила Каменная.

В ярость она впадала очень редко, и когда такое происходило, все вокруг вжимали головы в плечи, но Ефимия не утрастилась и не сбилась.

— Да будет тебе. Сколько ты с ним прожила? И сколько тебе тогда годов было? Ты его толком и узнать-то не успела. Его в твоей жизни, считай, почти что и не было. Выдумала себе икону и молишься на нее тридцать пять лет. Ты хоть лицо его помнишь?

Григориева растерялась, чего с ней уж и вовсе никогда не случалось.

В самом деле, какое у Юрия было лицо? Даже зажмурилась, но увидела не мужа, а сына Юрашу — вислогубого, лупоглазого. Стиснула зубы, велела себе: вспомянай!